

КНИГА ПЕРВАЯ

I

«Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии...»

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, — тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, — и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» — хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из

тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву:

— Все рабы твоя, Боже, упокой во дворах твоих и в недрах Авраама, — от Адама даже до днесь послужившая тебе чисто отцы и братии наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращурь учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их — жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, немало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине — перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда — и недаром — царит какая-нибудь серая башня времен кре-

стоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновенье! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то

ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, — хутор Каменка, — главным именем нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечерет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же — только тут еще блещет низкое солнце, — и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, — затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивленьем разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жест-

кими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, — и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, — и как изящно! — и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день: теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика, — и, боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?

III

Детство стало понемногу связывать меня с жизнью, — теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...

Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще

утром выкатили из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, — а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, — густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором, засунутым за пояс, — самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: «В аккурат сапожки!» — и ременную плеточку с свистком в рукоят-

ке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки! Дома, лежа в своей кровати, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо!

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдаль знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля: на самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из до селе виденных мною домов, — в нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты, — и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты... Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, кото-

рые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь, — есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в ложине, с топором за подпояской. Но то был разбойник, — я ни минуты не сомневался в этом, — то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка...

IV

Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрозненны: что, повторяю, мы знаем, что помним — мы, с трудом вспоминаящие порой даже вчерашний день!

Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства.

Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, — он, и правда, проводил свои дни в той

счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительно-го... Я уже чувствовал к нему не только расположенье, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямою переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, — он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, — и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...

Заметил я наконец и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится (и довольно часто) с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы; зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием: я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить

все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячеей, легко, как отец, вспыхивающей, но тоже очень доброй, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого...

С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, — к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!

В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

V

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешанное окно — бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высо-

ко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете, — я заплакал, я позвал, разбудил отца... Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди.

Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их, — в детской душе остается больше всего яркое, солнечное, — и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего две-три темных картины, да и то потому, что были они необычны: какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, — ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает «на Сорок Мучеников», очаровательным же по той причине, что, чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте; потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное: проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме, увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, — и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день; и, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развевающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучок... В общем же, повторяю, раннее детство представляется